

Оттого молодец с лошади свалился,  
что мать криво посадила.

*Пословица*

## ПРОЛОГ

### 1

Когда-то стояла здесь угрюмая, сумеречная тайга, сквозь которую с трудом пробивалась безымянная речка.

Однажды пришли на ее берега люди, разложили костер. Пламя лизало сухой валежник, отсвечивало на черных от времени, липких от проступавшей смолы стволах деревьев, отражалось в глубине спокойных вод.

На другой день начали валить деревья и строить жилье.

Трудно сказать, почему облюбовали они эти необитаемые места. То ли понравился им могучий каменный утес, возвышавшийся над тайгой неподалеку, на противоположной стороне реки, то ли сама река. А может, решили они поселиться тут потому, что не было сюда путей-дорог, не досягал ничей глаз, не доставала ничья рука.

Так или примерно так возникали в вековой сибирской глухомани заимки, раскольничьи скиты, всякие поселения. И вот стояло уже к зиме на берегу несколько торопливо и кособоко срубленных домишек, воровато курившихся по утрам желтым дымком от сосновых и кедровых сучьев.

Всю зиму люди продолжали валить деревья и таскать их к берегу на веревках по оледенелым накатам. И к следующей осени количество домов утроилось.

Деревне еще и названия не было, а реку наименовали Светлихой — наверное, за чистые и прозрачные, как сосновая смолка, воды, за тихий нрав, за приветливо приютившие людей берега.

Правда, весной река ревела и пенилась, грозя выплеснуться из берегов. Неслись по ней могучие деревья, вывороченные где-то из мягкого грунта. Крутились в водоворотах, с треском разламывались об утес. Но уже к концу апреля вода спадала, быстро

очищалась от мути, щепок и прочего мусора, виновато плескалась под ноги расхаживающих по берегу людей.

А потом, много лет спустя, случился страшный пожар. Он начисто выжег тайгу по всему левобережью, обуглил землю на много верст, оплавил и закоптил каменные глыбы утеса. Гореть бы жирным смолем и деревне, если бы не Светлиха.

После пожара люди попробовали было селиться и на левой стороне Светлихи, но воды смирной летом реки за три-четыре весны размыли оголенный берег и в половодье затапливали все левобережье, до самого утеса. Люди перевезли на правый берег свои домишки. На образовавшихся громадных заливных лугах каждое лето волновалось теперь буйное разнотравье — коси не хочу!

С тех времен и называется деревня Зеленый Дол. Может быть, до пожара она имела какое-то другое название, но история его не сохранила.

Деревня хотя и медленно, но разрасталась из года в год только по правому берегу. Он был немного холмистый, домишки лепились по отлогим залесенным склонам. Кое-где над домами, как безмолвные часовые, стояли даже кряжистые кедры. Теперь в селе было несколько улиц, тянувшихся вдоль речки, и десятка полтора переулков, нырявших между холмами.

Чем дальше к окраине, тем гуще становились заросли. Однако настоящая тайга начиналась только за Чертовым ущельем. Зубчатой стеной она подпирала самое небо.

Чертово ущелье находилось километрах в двух от деревни. Это была глубокая, саженей в пятнадцать, впадина с почти отвесными каменистыми краями. Бока ущелья зарастали крушиной, вереском и мелким кустарником. На дне его, неумолчно позванивая, холодно кипел, брызгая белой пеной, ручей, питавшийся подземными ключами, что били из-под обомшелых, насквозь прозеленевших камней. Спуститься в ущелье можно было только в двух-трех местах.

Каждому, кто заглядывал в ущелье летом, оно дышало в лицо холодным черным сумраком. Очевидно, поэтому дикое ущелье и называли Чертовым.

Каждое утро, когда еще не было видно солнца, гранитная верушка утеса над Светлихой уже окрашивалась в красно-розо-

вый цвет. По мере того как где-то поднималось солнце, краска с вершины утеса стекала все ниже и ниже. Розовый цвет превращался в желтоватый, блекнул прямо на глазах. Казалось, вот-вот камни совсем потухнут. Но через несколько минут бледно-желтая краска начинала густеть, принимала медноватый оттенок. И вот уже весь утес горел золотом, горел столь ослепительно, что на него больно становилось смотреть. Каждый гранитный кристаллик яростно отражал лучи невидимого еще людям солнца, эти лучи сливались в один огромный огненный, полыхающий столб.

Утес потухал, когда показывалось над землей солнце. Некоторое время поблескивали еще, переливались, как живые, белые искорки по его каменному срезу, висевшему над Светлихой, но скоро и они гасли.

Люди издавна заметили эту игру света и окрестили утес Злат-камнем.

А однажды пустил кто-то слух: неспроста называется так утес — под каменными глыбами лежит несметное количество золота в самородках и россыпью.

Слух загудел по Зеленому Долу, как памятный таежный пожар, раздуваемый ураганом. Люди кинулись через Светлиху на лодках и вплавь, долбили ломами брызжащий железными осколками гранит, рыли лопатами, а то и руками мокрый, тяжелый, как свинцовая дробь, песок. Облазили все скалы сверху донизу, изогнули ломы, истерли лопаты, до костей спустили мясо на ладонях, но никакого золота не нашли.

Со временем люди утихомирились, перестали долбить камни и рыть песок. Но молва о богатствах, скрытых под утесом, не исчезла. Она жила среди народа и была как летнее марево: вот дрожит оно под ближним пригорком, а подойди — ничего здесь нет, оно струится над следующим. И, витая над деревней, легенда все больше и больше окутывала утес ореолом таинственности.

На самой вершине утеса из широкой, забитой землей расщелины рос огромный, развесистый осокорь. Он был настолько могуч, что казалось, каменный утес не выдержит его тяжести и вот-вот развалится; настолько высок, что в ненастные дни тяжелые облака спускались ниже его ветвей. Может, поэтому в него ни

разу не ударила молния. Только ветер отламывал иногда от него ветки и бросал в Светлиху.

Осокорь был виден за много километров. Солнце теперь освещало прежде всего верхушку дерева и уж потом начинало расщевивать камни.

Люди удивлялись: почему осокорь вырос на самой вершине утеса, каким ветром и откуда принесло сюда его семечко? Ведь, кроме берез да осин, в этих местах не растут лиственные деревья. И лишь немногие знали, что осокорь посажен был человеческой рукой.

Сейчас уж никто не помнит имен первых поселенцев Зеленого Дола и никто не знает их судьбы. Но лет за сорок до революции появился в деревне мужичонка с деревянной ногой — Авдей Меньшиков. Этого старожилы уже помнят.

«Хром ногой, да прям головой», — с завистью шептали о нем одни. «Нога у него деревянная, да руки железные, — с отчаянием говорили другие. — Схватит за горло — уж не отпустит».

Авдей Меньшиков действительно в скором времени взял всех за горло и держал намертво. Он отобрал у прежних хозяев тучные покосы и лучшие земли. Больше полдеревни стало работать на него.

Авдей Меньшиков умер ровно за двадцать лет до революции. После него в деревне хозяйничал свирепый и своенравный, как дикая лошадь, Филька Меньшиков. У этого руки были уже не железными, а стальными. И, кроме того, у него, в отличие от родителя, было две ноги. Он так и говаривал:

— Батя все одной ногой давил вас, а я — обеими! Обеими, понятно?

Понятнее было некуда.

Филька любил выпить. А выпив, ходил по деревне, останавливал встречного и поперечного, жаловался:

— Вот что я? Филипп Меньшиков. Помру я — что тогда? Ничего, останется мой брат, Демид Меньшиков. Понял? Сына бы, конечно, надо мне. А баба проклятая дочь народила, с-стерва... Натахой прозвали, Натальей, значит. Я предупреждал: «Девку принесешь — возьму тебя за ноги и надвое раздеру...» И раздеру! Понял? Я десять лет наследника ждал, а она — на тебе! Разродилась, называется...

Помолчав, Филипп обычно добавлял:

— А с другой стороны, дочерь — она тоже хоть и баба вроде, да Меньшикова. Понял? И вечно мы будем на земле — Меньшиковы. Понял? Ну, дуй колесом, пока в рыло не сунул!

Особенно тяжело и безжалостно давил Филипп своих односельчан в годы мировой войны, наживая бешеные деньги на военных поставках зерна, мяса, кож. Он раздобыл, расплылся и по запустевшей без мужиков деревне ходил неторопливо, переваливаясь с боку на бок, как раскормленный селезень.

Все операции по поставкам Меньшиков производил через Парфена Сажина, богатого мужика-старовера с мохнатой, как овчина, шеей, жившего в волостном селе Озерки, что верстах в сорока за Светлихой.

## 2

Стояло душное лето пятнадцатого года.

Филипп Меньшиков и Парфен Сажин отмечали одно из своих многочисленных удачных дел.

За столом, кроме них, сидели еще Демид да Анисим Шатров, гуляка-парень лет двадцати пяти, сын зеленодольского мельника.

— Эх, Парфен, да мы с тобой... ить... — икал осоловевший вконец Филипп. — Токмо вот мужичишки бы с войны повозвертались! Не хватает рабочей силки. Н-да ништо, не всех перебьют, поди, там. Ух, уж развернись тогда!..

— Не шибко-то надейся, Авдеич, — хрипел в ответ Парфен. — Они, которые возвращаются... того, однако...

— Чего «того»?

— Как бы там и не слез, где сесть хочешь. Вернулся один такой бывший работник ко мне... Я ему рупь за работу даю, он два требует. Я было горлом на него, а он костыль половчее берет...

— Хе! — воскликнул Филипп. — У меня не возьмет! У меня они все шелковые. По струнке ходят. И бывшие, и настоящие. Н-нет, мой рупь они уважают! — распаялся Меньшиков все больше и больше. — Понял? Чего? Не веришь?! А ну айда!

Филипп и Парфен вывалились на крыльцо, чуть не сломав перила. Возле конюшни высокий парень в черной рубахе навыпуск кидал навоз.

— Захарка! Подь сюда! — закричал Меньшиков.

Парень воткнул вилы в навозную кучу, отер пот с лица, подошел:

— Чего тебе?

На вид парню можно было дать года двадцать четыре, если не больше. Здоровый, крепкий, как лиственничный сутунок, он стоял, чуть пригнув голову, спокойно разглядывая Меньшикова и Сажина большими серыми глазами. Его широкие влажные скулы матово отсвечивали на солнце, капельки пота поблескивали и в пробивающемся пушке над верхней, резко очерченной губой. Ветерок шевелил ворот расстегнутой рубахи, сушил мокрые, давно не стриженные, буйные волосы, закрывавшие половину лба.

На самом же деле Захару Большакову едва исполнилось двадцать. Он уже четвертый год жил у Меньшиковых в работниках.

— Ишь, устави́л гляделки! — нахмурился Филипп. — Чего, дурак, набычился?

Парень промолчал, только сунул руки в карманы измазанных навозом домотканых штанов да переступил с ноги на ногу.

— Прибавки к жалованью хочешь? — спросил Филипп.

— Кто ж не хочет?

— Ну, всем-то жирно будет. А тебе единовременно сейчас выдам. Ежели не упадешь, конечно.

Филипп сполз с крыльца, не спеша засучил рукава. Захар все так же спокойно наблюдал за ним, по-прежнему держа руки в карманах. Меньшиков качнулся и наотмашь ударил парня в лицо.

Голова Захара мотнулась, струйка крови разрезала надвое крутой подбородок. Но парень и теперь не вынул рук из карманов.

А Меньшиков, пьяно ухмыляясь, полез в карман за кошельком.

— Вот так, Парфен... Вот этак они мой рупь-то уважают. Сейчас, Захар, сейчас... На. Заработал — получи.

Захар вынул наконец руки из карманов, но, вместо того чтобы взять деньги, тяжело размахнулся и что есть силы звезданул своего хозяина в волосатую скулу. Пошатнулась под Меньшиковым земля. Филипп отлетел в сторону, грузно шмякнулся

оземь, перевернулся несколько раз. Затем, лежа на спине, чуть приподнялся, заморгал удивленно, непонимающе.

А Захар, вытирая пропахший навозом кулак, сказал:

— Прости уж, платить нечем.

Со Светлихи с большим тазом выполосканного белья подошла Марья Воронова, поденщица Меньшиковых.

Высокого роста, с ясными глазами цвета вызревающей черемухи, с крутыми бровями и длинной, чуть не до колен, косой, Марья, по общему мнению зеленодольцев, была самой красивой девкой в деревне. Самой красивой девкой, но и самой старой невестой. Годы ее подходили к двадцати пяти, а она все еще не обзавелась семьей, по не понятной никому причине отказывая всем женихам. Потом причину узнали — сохнет Марья по мельникову сыну Анисиму.

Филипп давненько уже поглядывал на Марью мутным глазом. В последнее время, краснея и шмыгая носом, начал тереться, крутиться вокруг нее и Демидка. Однако ни тот ни другой трогать ее не решались. Едва встречался ей кто-нибудь из них будто случайно, в глухом месте, Марья, гибкая и крепкая, точно отлитая из одного куска резины, ошпаривала их крутым предостерегающим взглядом красивых глаз, чуть шевелила густыми бровями, и каждый из братьев поспешно убирался восвояси.

Она поставила таз с бельем на землю, поглядела на распластанного Филиппа, усмехнулась, показав белые зубы, и сказала:

— Я бы, Захар, уплатила за тебя ради такого случая. Да тоже не заработала.

И словно только теперь к Филиппу вернулся разум, и понял он, что произошло.

— Т-ты?! Кого эт-то ты?! — заорал он, вскакивая. — Демидка! Анисим! Парфен! Скрутить Захарку! Обломать ему кулачища-то...

Из дома выскочили Демид Меньшиков и Анисим Шатров. Не понимая, что произошло, они кинулись на помощь Парфену и Филиппу, крутившимся вокруг Захара Большакова.

Со всеми ими трезвыми Захару, конечно, было не справиться. Но пьяных он раскидал их, как мешки с мукой, отшвырнул крепче других вцепившегося Демида, оставив в его руках кусок рубахи, и выскочил с подворья.



— И Марью-потаскуху тоже в шею! — орал взбешенный Филипп. — Аниска, поддай, говорю, своей ухажерке! Она слюной-то на тебя исходит — всем известно. Вдарь по шарам ее бестыжим!

— За что? — спросил Анисим.

— За насмешку...

И только теперь Анисим увидел заплывший Филиппов глаз.

— А-а... — махнул рукой Шатров. — Если уж обидно тебе, что бесплатно фонарь подвесили, я заплачу...

— Анисим! Что городишь?! — заворочал глазами Филипп.

— А-а... — еще раз протянул Анисим. — А ты, Марья, смелая... хозяйину-то эдак! За это погуляю с тобой сегодня ночью. Приходи на Светлиху к вечеру. Придешь?

— К пьяному-то... — подняла на него глаза Марья, но тут же опустила их. И, никого не стесняясь, прибавила: — К трезвому вот приду.

— А трезвый-то я, может, и не позову тебя, — нахально сказал Анисим и повернулся к Демиду. — Айда допьем, чего там осталось. Очухаются — приползут.

Анисим с младшим Меньшиковым ушли в дом. Парфен Сажин, чертыхаясь, отряхивал пыль с колен, с рубахи.

— Ладно он нас, пострел этакий... Силища как у дьявола. — Парфен подошел к Филиппу, стал помогать подниматься. — И в самом деле — айда пображничаем еще... Вот сына мово, Матвейки, нету здесь. Он бы его, Матвейка-то... в два счета. Ладный у меня сын, далеко только. На Урале, на самой родимой Печоре разъезжает. Знаешь, где Печора-то, благословенная река? Нет?.. А сын у меня к большим делам приставлен, к самому Аркадию Арсентьевичу Клычкову. Знаешь Клычкова-то? Нет?.. Да где тебел..

### 3

Примерно в то же время этот самый «сам» — Аркадий Арсентьевич Клычков, известный по всему Уралу купец и промышленник, «обмывал» покупку Большереченских золотых приисков. Третий день над североуральским таежным селом стоял дым коромыслом.

— Эх, ядрена шишка, знай, народ, Таежного Клыка, ложись травой перед Аркашкой Монахом, сволочи-и! — тряс широкой старовойлочной бородой Клычков. Он схватил бокал коньяку, разбавленного шампанским, долго сосал обжигающую влагу распущим за трехдневное гульбище ртом.

— Аркадий Арсентьевич... Аркаша-а! — простонала знаменитая екатеринбургская проститутка Дунька Стелька, женщина накрашенная, тонкая как змея. Вот уже полгода ее таскал с собой повсюду Клычков. — Право же, неудобно... Люди к тебе с почтением...

— Цыц, Дунька! — оборвал ее Клычков. — Знаем мы, что за почтение... Знаем, как за глаза-то навеличивают...

Клычков презрительно оглядел разномастных гостей, шумевших в большой и высокой зале с люстрами. Теперь эти люстры, и зала, и весь огромный дом бывшего хозяина рудников — его, Аркадия Клычкова, собственность. Да и люди, смятые, взлохмаченные, куражившиеся за столами, вповалку лежавшие на плюшевых потертых диванах вдоль стен (неважно шли дела у бывшего золотопромышленника, Аркадий Арсентьевич это слышал, но, когда увидел потертые диваны, сразу сбавил цену за рудники на одну четверть), эти люди тоже почти принадлежали ему. А ведь в зале копошились не какие-нибудь трень-брень — ирбитские ярмарочные воротилы, тюменские скупщики хлеба, скота, масла, златоустовские промышленники со своими компаньонами, тагильские заводчики. Было время, кланялся им Клычков каждому в отдельности, пусть теперь кланяются ему все вместе. Ведь у него, у Клычкова, хлебные, галантерейные, москательные, меховые и разные другие лабазы в Ирбите, у него медные и серебряные рудники по реке Чусовой, угольные шахты на Вишере, торговые конторы во многих уральских городах, в том числе в самом Екатеринбурге, он неограниченный хозяин вычегодских и печорских лесов со всеми их богатствами.

Все, все есть у него, Аркадия Клычкова. Не было только золотых рудников, а теперь пожалуйста!

Высокие окна раскрыты настежь, теплое августовское солнце заливало залу, ветер чуть шевелил легкие кружевные занавески. Занавески были уже клычковскими, он приказал их повесить перед приездом гостей.

С улицы доносились пьяные крики, матерщина, песни — третий день вместе с новым хозяином рудников гулял и рабочий люд. Клычков приказал кабатчику поить всех бесплатно.

В открытые окна налетело множество больших зеленых мух. Они кружились над столами, облепили развороченные закваски, целыми полчищами ползали по скатертям, образуя живые темные островки там, где было пролито вино или варенье.

Один такой островок был как раз напротив Клычкова. Он глядел-глядел и вдруг хлопнул по столу тяжелой ладонью.

Мухи разлетелись не все. Около десятка остались раздавленными на столе, примерно столько же прилипло к ладони.

— Вот! — сказал Клычков, поднимая руку. — А Таежный Клык — пусть. Лишь бы не затупился. И Монах пуцай. Старой веры мы, это верно. Хотя в Бога я вроде уже не верю. Сестра моя, правда, живет по старому укладу. Па-агадите, жирные брюханы, я вас еще приглашу в Черногорский скит на Печору, вы еще поздравите у меня игуменью Мавру с ее именинами! Растрясете важность-то по тайге. Поедете аль откажетесь?

— Аркадий Арсентьевич... да хоть в самое пекло, только дай знать, что желаешь... — откликнулся ирбитский купец Прохор Воркутин, мотнув начинающей лысеть головой. — Уважаем мы тебя.

— Уважаешь? — Клычков усмехнулся. — А не припомнишь, годков с десяток эдак назад я слезно просил у тебя тыщонки три на поправку, когда единственный мой амбар с первой в моей жизни закупленной партией зерна вдруг сгорел? Взял да и сгорел. А, как? Легко мне было? А ты...

— Так, Аркадий Арсентьевич... У тебя розмахи-то сразу обьявились... Ты — с места вскачь, наметом пошел... Где у меня такие капиталы были? Я и сейчас не смог бы. Да и сдавалось мне тогда — для виду просил ты, не по нужде...

— Что-о?! — багровея, хлопнул Клычков еще раз по столу ладонью с прилипшими мухами.

Самое больное место задел Воркутин. По всему Уралу метался слух — с чужого добра пошел жить Клычков. Лет двенадцать назад безвыездно сидел он на Печоре, где в глубине таежных дебрей сохранились еще старообрядческие общины и целые скиты. Жили Клычковы небогато, были яростными при-

верженцами и хранителями старой веры. За это сестра Аркадия, бобылка Мавра, была избрана уставщицей<sup>1</sup> при игуменье одной из черноморских обителей. Уставщица Мавра столь исправно несла часовенную службу, столь истово соблюдала все религиозные каноны, что игуменья перед смертью выбрала ее своей заступницей.

Новая настоятельница обители перебралась на житье в игуменскую стаю<sup>2</sup>. И, в обход всех староверческих канонов, сделала своей ключницей некую Пелагею Мешкову, которая вместе с другими женщинами-ткачихами из нарядного льна и шерсти ткала на общину пестряди, новины, сукна.

Долго гудела приглушенно обитель: почему именно Пелагею, женщину замужнюю, соблюдением основ старой веры особо отличающуюся? Болтали даже потихоньку злые языки, что новая игуменья и ключница делят напополам мужа Пелагеи — рябого и белобрысого мужичонку Никодима, сокрушались: экое святотатство, гибнут, рушатся вековые устои и заповеди.

Но постепенно новая игуменья так забрала власть, что самые болтливые языки прикусили.

И вскоре после этого появились в Ирбите два шустреньких скупщика хлеба — чернявый Аркашка Монах и белобрысый Никодим Мешков.

Мешков, совершив две-три удачные операции, уехал с кучей денег в Екатеринбург, открыл там большой универсальный магазин, а Клычков остался...

Об этих слухах знал Аркадий Клычков. И обидно было, что все считают, будто на общинные обительские деньги начали разживаться они с Мешковым. А все было не так. Что касается денег, Мавра была строгой и честной игуменьею, у нее копейки не выпросишь обительской. Просто чистили однажды они с Никодимом Мешковым заплесневелый погреб в игуменской стае, и провалилась лопата в стенку. Раскидали землю, гнилье какое-то, ржавые железки, обнаружили подземелье. Со страхом вошли,

<sup>1</sup> *Уставщица* — скитница, ведающая религиозными службами, наблюдающая за выполнением обрядов.

<sup>2</sup> *Стая* — несколько изб в скиту под одной крышей, соединяемых обычно меж собой сенями или крытыми переходами.

засветили свечку и увидели десятка два полусгнивших кованых сундуков, а в них — прах от тряпья да мехов. Что сохранилось, так это серебряная посуда да с горсть старинных золотых монет, колец и серег — всего тысяч на десять-пятнадцать. Стали думать, откуда это все здесь и что делать с золотом.

Умница была Пелагея Мешкова, ничего не скажешь. Она рассудила так: сундуки чьи — неизвестно, только видно — не при последней покойной матушке игуменье спрятаны были, а лет сто назад. Наверяд ли она знала о них. Слышно было, в войну с французами в двенадцатом году московские купчишки по скитам добро прятали. Может, спрятал кто, а взять забыл. Говорить теперь об этих сундуках не надо — пойдет спрос да говор: сколько сундуков, чего в них? И не поверят, что ничего. А это золото меж находчиками пополам, да дело с концом. Бог дал, Бог разделил, да и думать об этом забыл...

— Ладно уж... — согласилась нехотя тогда Мавра.

Вот как оно было на самом деле, да разве объяснишь людям...

— Так я спрашиваю, что ты сказал? — пуще прежнего закрычал Клычков, потому что Воркутин испуганно молчал.

Но в эту минуту в залу вошел длинноногий, поджарый, как гончий пес, парень с красивым лицом — личный секретарь и помощник Аркадия Арсентьевича Клычкова Матвей Сажин. Он днем и ночью находился при своем хозяине.

Этого парня хорошо знали все, с кем в последние годы имел дело Клычков. Сажина побаивались и перед ним заискивали, потому что он мог при острой необходимости за «соответствующее уважение» оказать на своего всемогущего патрона то или другое влияние.

Сажин был совершенно трезв. Отличный городской костюм сидел на нем как влитой. Манжеты сверкали невиданной белизной. Тонкие черные усики брезгливо вздернулись.

— Ну, — повернулся к нему сердито Клычков. — Чего усами дрыгаешь? Говори.

— С горы просигналили, Аркадий Арсентьевич. Едут, значит...

— Слава богу, — кивнул Клычков, кажется даже довольный, что Сажин прервал неприятную сцену, и выпил еще один бокал коньяка с шампанским. — Веди прямо сюда.

Со всех сторон пьяно зашумели:

- К-кыто едет?
- Откуда?
- Еще поздравители, что ли?
- Припозднились, коли так, хе-хе!
- От радости ноги отнялись...
- Серафима Аркадьевна едут, — сказал Сажин и вышел.

У купцов, промышленников, лабазников от трехдневной пьянки туман в глазах, звон в голове. Первой сообразила, что к чему, Дунька Стелька, вскрикнула:

- Дочь твоя, Аркадий? Как же я?.. Что же мне?.. Неудобно!

Вскочила и заметалась было. Но Клычков ухватил ее за платье, бросил возле себя на стул:

— Сиди уж... Застеснялась! В обморок не упадет, не такова девка.

А под окнами брякнул меж тем колокольчик. Снова распахнулась дверь в залу, снова вошел Матвей Сажин, даже не вошел, а вскочил задом, попятился:

— Пра-ашу, прашу, Серафима Аркадьевна! Батюшка заждались. А также... и другие.

Другие, однако, даже не подозревали, что Аркадий Арсентьевич послал несколько дней назад людей в Екатеринбург, где третье лето подряд гостила у Мешковых его дочь.

Все притихли. Даже корчившиеся от изжоги на диванах приподнялись — всем было интересно поглядеть на единственную наследницу несчитанных миллионов Клычкова.

Она появилась в дверях, стремительно сбросила черную пыльную накидку на безукоризненный костюм Сажина, расталкивая пьяных, отбрасывая стулья, побежала к поднявшемуся навстречу отцу, повисла на шее, заболтала ногами в грязных дорожных сапожках из мягкой кожи.

— А это кто, батюшка? — спросила она, отпустив его шею и ткнув рукой в залу.

- А так... люди. Друзья мои. Вот гуляем на радостях...

Серафима Клычкова была хороша. Вся ее крепкая фигура дышала лесной таежной свежестью, немного диковатой силой.

Опомнившись, придя в себя, зашевелились, загалдели заводчики, купцы и прочие промышленные и торговые люди:

- Что и говорить...

— И такое сокровище скрывал от нас, Арсентьич...  
— Одно слово — в отца дочка...  
— Счастливый же ты, Аркадий Арсентьич...  
— Я и толкую — чего тут говорить! Нечего...  
— Нет, есть чего! — крикнул Клычков. Все смолкли. — Какое сегодня число?

— Слава богу, четырнадцатое августа.

— Так вот... — Клычков покачнулся, но успел схватиться за плечи дочери. Девушка тоже шатнулась, но удержала отца. — Так вот... объявите всем вы, деловые люди: августа четырнадцатого дня тыща девятьсот пятнадцатого года на благословенном Урале изволили стать и появиться новый золотопромышленник...

— Аркадий Арсентьевич Клычков, — подсказал ирбитский купец Прохор Воркутин, когда Клычков на секунду приостановился. — Ура Аркадию Арсенть...

— Не-ет!! — что есть силы заорал Клычков. — Серафима Аркадьевна Клычкова!! Вот теперь — ура-а!

Однако никто не закричал. Пьяная компания глядела на отца и дочь Клычковых осоловелыми глазами, ничего не понимая.

У Серафимы перехватило дыхание. Перехватило до того, что ее маленький носик побелел, а тонкие ноздри чуть подрагивали.

— Однако постой, Аркадий Арсентьевич, — выговорил наконец кто-то. — То есть как все понять-разуметь? Замуж, что ли, дочь выдаешь и рудники вроде бы за ее приданым...

— А ты попробуй посватайся, — вяло сказал Клычков и сел, начал ковырять вилкой в тарелке. — Если всего твоего капиталу на свадьбу-то не хватит, я добавлю уж.

— Так как же тогда понять?

— А так. Дочка в столице... в самом Петрограде... желаю, чтоб жила. И чтоб по всяким заграницам ездила. Золотые рудники дарю ей на шпильки и шляпки... Поняли? Скажите всем: Клычков Аркадий подарил дочери золотые рудники на карманные расходы. Пусть весь Урал знает! Вся Россия!! Вот. А об приданом другой разговор будет... когда время придет.

И опять в зале установилась тишина.

Ноздри Серафимы уже перестали дрожать, дышала теперь девушка легко и свободно. Она только что заметила сидящую рядом с отцом Дуньку Стельку и внимательно глядела на нее, чуть удивленно приподняв брови.

Клычков откинулся на стуле, повернулся к дочери, понял ее взгляд, махнул рукой:

— Это ничего, дочка, прогону ее сегодня. Матвей, а Гаврила-то Казаков приехал?

— Гаврила! — тотчас крикнул стоявший у дверей Сажин.

Вошел кряжистый, угрюмого вида мужик, перекрестился двумя перстами, поклонился и молча встал рядом с Сажиным.

— Ты вот что, Гаврила. Будешь теперь не на медных, а на золотых рудниках главным управляющим.

Казаков опять молча поклонился.

— Семью перевезешь, будешь жить в этом доме. Понял? Для важности. Только скажи, чтоб диваны заменили.

Гаврила отвесил еще один поклон.

— Жалованья кладу вдвое против прежнего. Только чтоб держал у меня все тут! Как на медных...

Гаврила сверкнул глазами, глухо вымолвил:

— Уж будьте покойны, Аркадий Арсентьевич.

— Все рудники чтоб пустили к зиме. Сколь капиталу надо вложить — вложим. Ступай. Да скажи кабатчику — пусть запрет заведение. Хватит водку задаром жрать.

Гаврила поклонился в последний раз и ушел.

— Н-ну, дочка... — промолвил Клычков, встал, обвел мутными глазами разопретших, ошарашенных гостей. — Чего глазами лупаете? Завидуете? Н-ну-ка, кто из вас такой подарок дочери своей сделать может?

— Иван Андреевич Сорокин из Екатеринбургa может...

— Ха-ха, Сорокин! Я вас спрашиваю... То-то!.. Далеко дражным воробьям до сорок, не то что до орлов. Н-но погодите, и Сорокин у меня на Печоре побывает, дайте время. И Сорокин будет мне «ура» кричать, как... П-постой, погодите-ка, разлюбезные мои! — вдруг зловеще протянул Клычков. — Да вы что, ув-в-важаемые мои гостенечки?! Это почто вы «ура» не прокричали дочери моей, как я желал, а?! Прощка-а! Воркутин, сын с-сукин! Ты почто не кричал, спрашиваю?!

— Так я, Аркадий Арсентьевич... От изумления голос перехватило. Я... ежели желаешь... — залепетал купец.

— Перехватило! — забушевал Клычков. — Сейчас тебя кондрашка перехватит! Матвейка! Сажин! Завтра же взыскать с него по всем вексялям...



— Аркадий Арсентьевич, отец родной, — взмолился Воркутин, схватил руку Клычкова. — Разоришь ведь, по миру пустишь. Погоди маленько, я обернусь и все выплачу.

— А-а-а! — торжествующе закричал Клычков. И вдруг завернул на столе скатерть вместе с посудой, с бутылками, с закусками, сбросил ее на пол, схватил Серафиму, посадил ее на стол. — Тогда обмети пыль бородой с сапог моей дочери, обсоси всю грязь!

Клычков взял Воркутина правой рукой за шиворот, поставил на колени, левой схватил ногу дочери и ткнул в лицо ирбитскому торговцу.

— Целуй, в печенку тебя!! И... все остальные... по очереди. Матвейка! Глядеть у меня в оба! Об увильнувших доложишь завтра...

Сажин с разбегу вскочил на стол, стал рядом с Серафимой, вынул из кармана карандаш.

Девушка сперва пыталась было оттолкнуть старика Воркутина, но не смогла — тот уцепился уже за ее ногу, как клещ. А со всех сторон гремели стулья, слышался стеклянный хруст — люди, как бараны, толкая друг друга, старались пробиться к ней один вперед другого. И тогда... тогда она улыбнулась своими капризно-тонкими губами, чуть откинулась назад, уперлась в стол руками и, не переставая улыбаться, подставляла склоняющимся перед ней заводчикам, владельцам промыслов, торговых лабазов и контор попеременно то правую, то левую ногу...

Когда поднялся с колен последний купец, маленькие сапожки ее блестели, будто побывали у добросовестного чистильщика. Серафима внимательно оглядела их и повернула голову к Дуньке Стельке, которая сидела все время почти рядом, опершись локтями о стол, зажав голову руками.

— Ну а вы? — тихо спросила Серафима, будто даже с застенчивой улыбкой.

— Нет! Нет!! — вскрикнула Дунька, вскочила, побежала из залы.

Серафима проводила ее задумчивым взглядом голубых глаз.

— Ну а теперь гуляй дальше, господа! — объявил Клычков. — Душно тут. Матвейка, распорядись там — столы на двор, на зеленую травку, на воздух! А к вечеру баньку истопить — попаримся, чтоб отрезветь...

Вечером Серафима, освещенная последними лучами солнца, сидела на террасе дома. Внизу, на столах, уткнувшись в тарелки, и прямо на земле валялись, храпели, стонали перепившиеся вконец гости.

Усадьба дома была огорожена высоким штакетником. Недалеко, на берегу протекающей прямо на усадьбе речушки, выстала уже натопленная баня.

Вскоре возле бани появился Гаврила Казаков с четырьмя здоровенными парнями, которых он привез с собой с медных рудников. Парни волокли упирающуюся Дуньку Стельку.

— Значит, так... — Гаврила потряс перед носом Дуньки кулаком. — Сейчас пропаривать гостей Аркадь Арсентьича будешь... Поработаешь — и домой. Кони уж приготовлены. Веники в кадках с квасом мокнут.

— Не буду, не буду! — орала Дунька, пытаясь вырваться.

— Еще чего! — прикрикнул Казаков. — Приказ самого Аркадь Арсентьевича. Гляди у меня, а то живо... платышко сдернем — да в тайгу, на ужин комарам. У нас ить тут свои порядки.

Угроза сразу подействовала. Дунька, пошатываясь, вошла в баню. Вместе с нею вошли двое парней. А двое других принялись подбирать валявшихся по всей усадьбе гостей и волоком стаскивать в баню.

Серафима улыбнулась одними уголками губ и крикнула, чтоб ей принесли чаю с ее любимым малиновым вареньем.

4

Большереченское лежало в длинной неглубокой ложине. По самой сердцевине ее текла, виляя, маленькая, по колено, речушка, вдоль которой было разбросано сотни полторы домишек.

— Кто это громкое название такое дал селу? — спросила Серафима у Матвея Сажина, останавливаясь на берегу речушки, заросшей лопухами и осокой. — В насмешку, что ли?

— Не могу знать, — виновато ответил он и повернулся к обветренному домишку, стоявшему неподалеку от берега. — Эй! — крикнул Сажин двум мужикам, которые сидели возле дома за грубо сколоченным столиком и наблюдали за Серафимой и Сажиным. — Не скажете ли вы?

— Чего? — переспросил один из них, худой и рыжеволосый мужик. Несмотря на жару, он сидел в шапке и рваной тужурке — видимо, был болен.

— Оглохли, что ли? Отчего поселок так прозывается, спрашиваем.

Ответил, усмехнувшись, другой мужик, низкорослый, но плотный, с обвислыми седоватыми усами:

— А тут другая, большая река есть, по ей и сельцо кличут. Тильки вам ее не увидеть...

— Что за такая река? Что за чушь городите? — возвысил голос Матвей Сажин.

— Река человеческих слез да горя, — пояснил рыжеволосый.

Сажин вздернул усики, растерянно глянул на Серафиму — угораздило же, мол, спросить их!

— Пойдемте, — сказала девушка.

— Да-да... Хамье, чего уж ожидать... — Но все-таки снова повернулся к мужикам, спросил строго: — Кто такие? Рудничные? Почему не на работе?

— Тут все либо рудничные, либо больничные, — ответил тот, что в шапке.

Откуда-то подскочил большевиченский кабатчик, закрутился вокруг Серафимы и Сажина:

— Зря вы с ними, разве это люди? Смутьяны и баламуты. Тот, усатый, — Гришка, по прозвищу Кувалда. Хохол с Украины. А этот, рыжий, — Степка Грачев. За девятьсот пятый в тюрьме сидел, сюда из Сибири заявился. Бывший хозяин рудника хватил с ними горя. Одно слово — рвань...

— Пойдемте, — еще раз сказала Серафима и быстро зашагала прочь.

Случай этот не то чтобы произвел на Серафиму тяжелое впечатление — она бывала на некоторых рудниках и заводах отца, насмотрелась всякого, — но просто ей мучительно и остро захотелось обратно в губернский город, в Екатеринбург, где много шума, света, блеска, где есть у нее много знакомых — дочери и сыновья купцов Коробовых, владельцев огромных магазинов Мешковых, фабрикантов Казаровых.

Три года назад белица Настасья Мешкова, привезенная когда-то родителями на воспитание в обитель Мавры Клычковой,

сговорила Серафиму поехать на лето в Екатеринбург к ним в гости. Серафима, всю жизнь прожившая в лесах, только по книжкам, по рассказам отца да подружки Настасьи знала, что такое город. Очень уж ей хотелось взглянуть на него. К тому же до тошноты опротивели ежедневные чтения божественных кафизм, бесконечные посты и те полторы тысячи «местных, средних и штилистовых» икон, что стояли в большом и малом придельных иконостасах, а также на полках по всем стенам обительской часовни. Игуменья обители, а ее родная тетка, имела особую слабость к двум вещам — к иконам и к пасхальной песне «Велия радость днесь в мире явися...». И поэтому она заставляла ее, Серафиму, наравне с другими белицами обители подолгу каждое утро петь заунывную «Велия радость...», а днем подолгу выставлять в часовне под спускающимися с потолка паникадилами и созерцать лики святых. Частенько она устраивала своим послушницам строгие экзамены и очень сердилась, если кто путал имена апостолов, пророков, праотцев, богородиц. И каждый раз не то страшала, не то сожалела, что скиты давно обветшали и порушились, что вот когда-то раньше в иных обителях бывало по три тысячи и даже много более икон. Свою мать Серафима не знала — та умерла во время родов.

Обительская жизнь опротивела Серафиме, но и спросить разрешения у тетки на поездку в гости к подруге не решалась. Знала, что не пустит.

И уговорила Настасью подождать приезда отца: тот души в ней не чаёт и — была уверена — не устоит перед любой ее просьбой.

Так и вышло. Едва отец уловил суть просьбы, сказал:

— Об чем речь! Давно пора. Нечего киснуть тут, показывайся, дочка, на людях.

— Окстись! — побелела тетка. — На срамные бритые подбородки глядеть! На поганых щепотников Никоновых...

— Ничего, пусть едет, — решительно сказал отец. — Я как раз тоже в Екатеринбург. Там попрошу Мешкова Никодима Осиповича — пусть по старой дружбе приглядит за дочкой. Да и вон твою прислужницу Мотрю снарядим для генерального руководства.

И Серафима поехала.